

Глава 6½. Устная традиция, письменность и тексты

“ Поэзия — родной язык человеческого рода; точно так же и сад старше поля, рисунок старше письма, песня старше декламации, притчи старше умозаключений, а обмен старше торговли...

— Брюс Чатвин. Тропы песен

“ Ибо во всей своей суровости закон есть письменным документ.

Письменность на, стороне закона, он живет в ней; знание письменности означает невозможность незнания закона... письменность напрямую определяет власть закона — будь он выгравирован в камне, изображен на, шкурах животных или записан на папирусе.

— Пьер Кластр. Общество против государства

Основополагающий признак варварства с точки зрения равнинных элит — неграмотность. Самой известной из цивилизационных стигм, навешанных на горные народы, является общая безграмотность (неумение читать и писать). Дарование дописьменным народам набора букв и системы формального образования — безусловно, смысл существования цивилизованного государства.

Но что, если в длительной исторической перспективе многие народы на самом деле не письменные, а, используя определение Лео Альтинга фон Гойзау, теосдашисьменные?[594] Что, если вследствие бегства от государства, изменений в социальной структуре и жизненных практиках они просто отказались от текстов и письменности? И что, если, исходя из самой радикальной версии развития событий, подобное оставление мира текстов и грамотности было целенаправленным и имело под собой стратегические соображения? Доказательства последнего предположения почти всегда носят косвенный характер. По этой причине и, возможно, из-за недостатка мужества я вынес обсуждение этого вопроса за рамки анализа сельского хозяйства и социальной структуры, характерных для ситуации бегства от государства, хотя они со «стратегическим» поддержанием (если не созданием) неграмотности — одного поля ягоды. Как подсечно-огневое земледелие и пространственное

рассеяние представляют собой способы воспрепятствовать поглощению государством, а социальная фрагментация и отсутствие властной верхушки — это инструменты противодействия инкорпорированию в ткань государства, так и отсутствие письменности и текстов обеспечивает свободу маневра в форматировании истории, составлении генеалогий и трактовках происходящего, что грубо нарушает рутину государственной жизни. Если эгалитарные мобильные поселения подсечно-огневых земледельцев представляют собой выскальзывающие из лап государства «медузообразные» экономические и социальные формы, то приверженность устной традиции выступает аналогичным непрочным и мимолетным, как медуза, видом культуры. В этом смысле поддержание устной традиции во многих случаях — сознательное «самопозиционирование» по отношению к государственному строительству и верховной власти. Так же как сельское хозяйство и особенности поселенческих практик могут в течение времени значимо варьировать, отражая стратегические жизненные приоритеты, грамотность и тексты могут то считаться неотъемлемой частью культуры, то полностью из нее исключаться, а затем вновь завоевывать свои позиции ровно по тем же соображениям. Я осознанно использую понятия «неграмотность» и «устная традиция», предпочитая их «безграмотности», чтобы привлечь внимание к приверженности устной традиции как особому и потенциально позитивному формату культурной жизни, который не сводится лишь к отсутствию письменности. Тот тип «устной традиции», о котором идет речь, следует отличать от так называемой первоначальной неграмотности — ситуации, когда социальное поле впервые сталкивается с письменностью. Бесписьменные народы в горных массивах Юго-Восточной Азии, наоборот, уже в течение более чем двух тысячелетий жили в постоянном контакте с одним или несколькими государствами, в которых существовали небольшие грамотные группы, тексты и письменные записи: горным народам пришлось как-то позиционировать себя по отношению к данным государствам. Наконец, само собой разумеется, что вплоть до недавнего времени грамотные элиты равнинных государств представляли собой лишь крошечное меньшинство в общей численности подданных. Даже в долинах подавляющее большинство населения жило в устной культуре, хотя она и изменялась под воздействием письменности и текстов.

Устные истории об утрате письменности

Понимая, насколько равнинные государства и колонизаторы стигматизируют их бесписьменное состояние, большинство горных народов создали устные легенды, «объясняющие» отсутствие письменности. Удивляет поразительное сходство подобных легенд, которое не ограничивается лишь материковой частью Юго-Восточной Азии, а прослеживается в малайском мире и, если уж на то пошло, даже в Европе. Все эти легенды изображают народы как когда-то давно имевшие письменность, но утратившие ее вследствие собственной неосмотрительности, или же как способные ее иметь, если бы она не была вероломно украдена. Подобные истории, как и этническая идентичность, выполняют функцию стратегического самопозиционирования по отношению к другим группам. У нас есть все основания полагать, что и легенды, и этническая идентичность

корректировались в случае значительного изменения внешних обстоятельств. То, что эти легенды имеют практически семейное сходство друг с другом, вероятно, в большей степени обусловлено общим для горных народов стратегическим расположением по отношению к крупным равнинным царствам, чем какой бы то ни было культурной инерцией.

Одна из распространенных версий того, как акха «утратили» письменность, достаточно типична для описываемого жанра устных историй. Акха утверждают, что в давние времена выращивали рис, жили в долинах и были подданными государств. Вынужденные бежать, как утверждает большинство легенд, под давлением тайского военного превосходства, акха рассеялись в нескольких направлениях. Продвигаясь по маршрутам бегства, «будучи голодны, акха съели свои книги, сделанные из шкур буйволов, и таким образом утратили систему письменности»[595]. Лаху, горные соседи акха по Бирме и тай — по китайской границе, рассказывают, что потеряли свои системы письменности, когда съели пироги, на которых их божество Гуй-ши написал буквы алфавита[596]. У народа ва есть схожая история: когда-то давно у них была система письменности, зафиксированная на воловьей шкуре. Когда им было нечего есть, они просто съели эту шкуру и утратили свою систему письма. Другая история ва повествует, что в древности среди их народа жил великий обманщик Глиех Нех, который отправил всех мужчин на войну, а сам остался и занимался любовью с их женщинами. Будучи пойман и приговорен к смерти, Глиех Нех попросил, чтобы его утопили в гробу вместе с музыкальными инструментами. Брошенный на произвол судьбы, он играл так волшебным образом, что жившие в низовьях реки существа помогли ему освободиться. В благодарность он обучил жителей равнин всем своим искусствам, включая письмо, а народ ва остался безграмотным. Поэтому письменность ассоциируется у ва с мошенничеством; мир письма для них схож с миром торговли и наполнен обманом и жульничеством[597]. У каренов существует множество версий легенды, согласно которой каждому из трех братьев (карену, бирманцу и ханьцу/европейцу) была дарована система письма. Бирманец и ханец сохранили их, тогда как карен оставил свою, зафиксированную на шкуре, на пне дерева, пока занимался подсечно-огневым земледелием, и ее сожрали дикие (или домашние) животные. Историй подобного типа насчитывается бесчисленное множество; достаточно развернутый обзор вариаций данной темы в группе народов каренни представлен в работе Жан-Марка Растдорфера, посвященной кая и их идентичности[598]. Лаху рассказывают, что когда-то давно умели писать, и ссылаются на утраченную книгу. Они действительно известны тем, что обладали некими свитками с иероглифическими знаками, которые не могли прочесть[599]. Впечатление, что появление подобных историй в значительной степени обусловлено скрытым в них обращением к более сильным группам с развитой государственностью и системой письменности, подкрепляется тем, что таковые встречаются и за пределами региона[600].

Легенды о предательстве столь же распространены, как и рассказы о небрежности. Отдельные этнические группы располагают обеими версиями, видимо, используя каждую из них для соответствующих слушателей и ситуаций. В одном из рассказов об утрате каренами письменности вина возложена на бирманских королей, которые якобы продолжали захватывать и казнить всех грамотных каренов до тех пор, пока не осталось ни одного, кто мог бы научить писать остальных. Легенда народа кхму (ламет) в Лаосе связывает утрату им письменности с попаданием в политическую зависимость. Семь деревень решили вместе заниматься подсечно-огневым земледелием на одной горе и поклялись совместно

противостоять своему тайскому повелителю. Они записали свою клятву на ребре буйвола, которое было торжественно погребено на вершине горы. Но позже ребро было выкопано и украдено, и «в тот день утратили мы свое знание письменности и с тех пор страдали от власти своего *lam* [тайского господина]»[601]. История чинов, ставшая известной в начале XX столетия, объясняет безграмотность народа бирманским обманом. Чины, как и другие племена, появились из 101 яйца. Будучи рождены последними, чины были самым любимым народом, но к моменту их рождения земля уже была поделена, поэтому им достались незанятые горы и населяющие их животные. Назначенный им бирманский опекун обманул чинов, лишив их слонов (символа королевской власти) и показав пустую оборотную сторону грифельной доски, чтобы они никогда не узнали ни одной буквы[602]. Репертуар историй об утрате письменности белыми хмонгами включает в себя рассказы и о небрежности, и о предательстве. По одной версии хмонги, убегая от ханьцев, заснули и лошади сожрали их тексты; или же тексты по ошибке попали в рагу и были съедены. Вторая и более зловещая версия гласит, что ханьцы, вытесняя хмонгов из долин, забрали все их тексты и сожгли. Образованные хмонги укрылись в горах, а когда они умерли, у народа не осталось письменности[603].

В некоторых группах, например у хмонгов и мьенов, утрата письменности прочно ассоциируется с общим восприятием истории как свойственной живущим в долинах и обладающим государственностью народам. Эти группы утверждают, что прежде чем их вытеснили с равнин, у них были короли и письменность, они занимались поливным рисоводством, то есть обладали всеми элементами, за отсутствие которых они сегодня стигматизируются. В этом контексте грамотность и письменные тексты не являются для горных народов чем-то новым и неизведанным — скорее, это возвращение прежде утраченного или украденного. Неудивительно поэтому, что прибытие миссионеров с библиями и системами письменности для племенных диалектов часто воспринималось как восстановление утерянной культурной ценности и даже приветствовалось, поскольку не имело отношения к бирманцам или ханьцам.

Почему нам важны все эти легенды об утраченной грамотности? Вполне вероятно, если мы рассмотрим их в длительной исторической перспективе, то увидим, что они содержат в себе долю исторической правды. Тай, хмонги/мяо и яо/мьен, судя по тому, что говорят реконструкции их прошлых миграционных перемещений, изначально жили в долинах и вполне могли когда-то давно быть подданными рисовых государств или, в случае многочисленных тайских групп, сами заниматься государственным строительством[604]. Многие другие горные народы в далеком и относительно недавнем прошлом были тесно связаны (даже если не были ими поглощены) с равнинными королевствами и их грамотными элитами. Соответственно, можно предположить, что те из народов, что перебирались из долин в горные районы, включали в себя по крайней мере незначительное грамотное меньшинство. Легенда хмонгов о вымирании такового, видимо, содержит в себе зерно истины, хотя и не объясняет, почему знания не были переданы. В разные моменты своей истории карены поддерживали тесные связи с рядом владеющих письменностью рисовых государств — монским Пегу, тайским Наньчжао, бирманскими и тайскими культурными традициями, — и подобные контакты не могли не породить хотя бы небольшой класс грамотных. Гананы, сегодня бесписьменный народ, проживающий в верховьях реки Му, почти наверняка были частью имевших письменность королевства (королевств) Пиу до того,

как укрылись в своих укреплениях в горах. Как и подавляющее большинство других горных народов, гананы и хмонги сохраняют множество культурных практик и верований тех жителей долин, с которыми когда-то поддерживали отношения. Если, как я полагаю, многие, возможно даже, большинство современных горных народов действительно имели «равнинное» прошлое, то подобная культурная преемственность не должна вызывать удивления. Но почему же тогда практически повсеместно горные народы не заимствовали у долин грамотность и систему письма?

Ограничения грамотности и прецеденты ее утраты

В общепринятых цивилизационных нарративах нет места утрате или отказу от грамотности. Обретение письменности рассматривается как путешествие в один конец, наравне с переходом от кочевого земледелия к поливному рисоводству и от лесных поселений к деревням, малым и крупным городам. И все же грамотность в досовременных обществах в лучшем случае была уделом мизерной доли населения, составлявшей, вероятно, менее одного процента от его общей численности. Грамотность была социальным маркером писцов, получивших хорошее образование религиозных деятелей и очень тонкой прослойки ученой аристократии, если речь идет о ханьцах. Поэтому предполагать, что какое-то государственное образование или народ полностью были грамотными, некорректно; во всех досовременных обществах подавляющее большинство населения было безграмотным и жило в рамках устной культуры, пусть и пронизанной и изменяемой текстами. Во многих случаях не будет преувеличением сказать, что с демографической точки зрения судьба грамотности и письменности нередко висела на волоске. Они были уделом крохотной элиты, и их социальное значение, в свою очередь, определялось государственной бюрократией, организованным духовенством и спецификой социальной пирамиды, в которой умение писать могло быть средством продвижения вверх по социальной лестнице и признаком социального статуса. Любое событие, которое угрожало элементам этой институциональной структуры, угрожало и грамотности.

Некий институциональный коллапс, видимо, стал причиной четырехсотлетних греческих Темных веков, продлившихся примерно с 1100 года до н. э. (времен Троянской войны) до 700 года. До этого периода микенские греки, по крайней мере какая-то небольшая их часть, вели записи с использованием крайне сложного для понимания письма (линейного слогового письма В), заимствованного у минойцев в целях прежде всего учета дворцовых административных решений и налоговых поступлений. По причинам, которые до сих пор не вполне ясны, — дорийское нашествие с севера, гражданская война, экологический кризис или голод — дворцы и города Пелопоннеса были разграблены, сожжены и заброшены, что привело к краху международной торговли и породило потоки беженцев и в целом миграцию населения. Эта эпоха получила название «Темные века» именно потому, что о ней не сохранилось никаких письменных свидетельств, вероятно, вследствие утраты линейного письма В в хаосе и рассеянии, в которых пребывало население в тот период. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» и устные сказания, передававшиеся от поэта к поэту и только

значительно позже записанные, — единственные дошедшие до нас культурные артефакты Темных веков. Примерно в 750 году до н. э., в достаточно мирное время, греки возродили письменность, на этот раз позаимствовав у финикийцев их древнейшую алфавитную систему, позволявшую графически отображать звуки речи. Этот исторический эпизод — один из ярчайших имеющихся в нашем распоряжении примеров того, как система письменности была утрачена, а позже обретаена вновь[605].

Другой пример, в котором, правда, письменность была не полностью утрачена, — эпоха, последовавшая за крахом потрепанных жизнью осколков Римской империи в 600-е годы н. э. Знание латыни, которое прежде было столь же дорогостоящим, сколь и обязательным атрибутом невоенной карьеры в Римской империи, теперь ничего не давало, за исключением, пожалуй, своеобразного украшения. Способом защитить себя и обрести власть для элит стала военная служба местному царю. Грамотность настолько упала в цене, что считалась необходимой лишь духовенству даже в районах Галлии, прежде полностью латинизированных. В отдаленной Британии внешний лоск римской культуры и образования испарился. Именно Римское государство и его институты поддерживали контекст, в котором письменность и грамотность были «основополагающим компонентом элитарности», ровно так же как микенский социальный порядок обеспечивал существование более ограниченного по масштабам использования линейного слогового письма В в Древней Греции. Когда разрушалось институциональное ядро системы, исчезал и социальный фундамент письменности и грамотности[606].

Предположим, что многие современные горные народы в тот или иной момент своей истории проживали вблизи или внутри равнинных государств, характеризовавшихся некоторой степенью грамотности. Предположим далее, поскольку это вполне разумно, что небольшая доля собственных элит горных народов становилась грамотной, например используя китайскую систему письма. В таком случае как же можно объяснить последующую утрату ими письменности? Здесь вновь первое, о чем нам следует помнить, — насколько тонка была грамотная прослойка ханьского общества, не говоря уже о тех народах, которые ханьское государство поглощало по мере расширения своих границ. По сути, мы говорим о небольшой горстке грамотных людей. Во-вторых, те, кто владел системой письменности равнинных государств, скорее всего, составляли элиту, и их бикультурные навыки превращали их в наиболее выгодных равнинному государству союзников и должностных лиц, которые, если сами того желали, могли встать на путь ассимиляции. Значит, как считает большинство историков, крупные сегменты малочисленных сегодня горных народов в прошлом были поглощены ханьской экспансией: можно предположить, что их образованные меньшинства остались в долинах и ассимилировались, поскольку поступить подобным образом им было исключительно выгодно. Соответственно, народы, эмигрировавшие или покидавшие центры равнинных государств, видимо, оставляли в них большую часть, если не всю свою образованную прослойку. Следуя этой логике рассуждений, можно предположить, что несколько грамотных людей, влившихся в ряды сопротивляющихся поглощению государства и бегущих от него, неоднозначно воспринимались своими соплеменниками: они были искусны в письме, считавшемся отличительной чертой государства, от которого бежала группа; их знания могли, с одной стороны, считаться полезными, с другой — их могли воспринимать как потенциальную пятую колонну. В последнем случае грамотные могли предпочесть

утратить свой образованный статус и отказывались обучать письменности других.

Иное возможное объяснение утраты письменности заключается в том, что это явление стало логическим следствием фрагментации, мобильности и распада социальной структуры, обусловленных миграцией в горы. Уход из равнинных центров государственности означал отказ от сложной социальной структуры ради мобильности. В подобной ситуации письменность и тексты больше не были нужны и отмирали как практическая деятельность, хотя и сохранялись как память[607]. Как и в Римской империи, распространение грамотности и текстов напрямую зависело от существования конкретного государства и его бюрократических процедур: государственные документы, кодексы законов, летописи, в целом искусство ведения записей, налоги и экономические сделки и прежде всего модели распределения постов и иерархии, принятые в государстве, превращали умение читать и писать в желаемое и престижное свойство. Как только эта структура распадалась, социальные стимулы к обретению грамотности и механизмы ее распространения стремительно исчезали.

Ограничения письменности и преимущества устной традиции

До сих пор причины утраты письменности мы сводили к исчезновению грамотных людей, а также контекстов, которые определяли высокую ценность их услуг. Однако, как мне кажется, значительно важнее позитивные последствия перехода к устной культуре. Аргументы в пользу таковых базируются в первую очередь на очевидных по сравнению с письменной традицией преимуществах устной культуры — социальной гибкости и адаптации.

Для обоснования своей точки зрения я выношу за скобки те случаи, когда секретные виды письма и надписи считались обладающими волшебной силой[608]. Магические письмена и знаки широко распространены по всему региону и используются так же, как волшебные заклинания и заговоры, призванные символически «воздействовать на мир»; их изображают на талисманах и вытатуировывают на теле, монахи и шаманы благословляют их и ручаются за их способность охранять своего владельца, а потому эти письмена выполняют функцию мощных фетишей. Хотя магические письмена свидетельствуют о символической власти письма и сами по себе заслуживают отдельного рассмотрения, они не формируют систему письменности в том смысле, в каком я ее понимаю. Я также выношу за рамки своего исследования те обнаруживаемые по всему региону письмена, роль которых сводится исключительно к памятным пометкам на службе устной культуры. Так, например, считается, что яо/мьен на юге провинции Хунань в доханьские времена имели простейшую систему письменности, помогавшую им запоминать похоронные песни — они могли быть даже вышиты на одежде. Подобную ограниченную форму письменности — без постоянных текстов, литературы и документов — мы также оставим без внимания, сколь бы ни завораживала попытка использовать систему письма в, по сути, устной культуре (это как если бы Гомер разработал систему знаков, чтобы запоминать и декламировать сложные

строфы «Одиссеи»)[609].

Существование особых, с ограниченной сферой применения моделей письменности — полезное напоминание о том, что тексты в широком смысле слова могут иметь разные обличья, из которых книги и документы — всего лишь два из множества возможных. Я осмелюсь предположить, что все иерархии, претендующие на межпоколенческую долговечность, производят как нечто само собой разумеющееся «тексты», которые подтверждают их претензии на власть и господство. Подобные тексты до появления письменности могли существовать в виде материальных объектов — корон, гербов, трофеев, мантий, головных уборов, королевских цветов, фетишей, реликвий, стел, монументов и т. д. Государство, как самый амбициозный претендент на власть, бесконечно приумножает эти «тексты», доказывая свое постоянство. Первые государства сочетали вечность каменных скрижалей с письменностью или пиктографией для утверждения притязаний на непреходящую власть.

Основной недостаток монументов и письменных текстов заключается именно в их относительном постоянстве. Несмотря на всю свою условность, будучи возведены/записаны, они превращаются в социальных ископаемых, которые в любой момент могут быть «откопаны» и извлечены на свет в своем неизменном виде. Любой письменный текст порождает возможность ортодоксии — будь то легенда о происхождении, предание о переселении, генеалогия или религиозная книга, как Библия или Коран[610]. Безусловно, ни один текст не обладает совершенно прозрачным смыслом; если же речь идет о множестве конкурирующих текстов, то возможности интерпретации многократно возрастают. Тем не менее текст остается отправной точкой рассуждений; он определяет если не невозможность, то неправдоподобие ряда прочтений. Если есть текст, признаваемый неоспоримой точкой отсчета, то он становится своеобразным мерилom, по которому можно примерно оценить отклонения от первоисточника[611]. Этот процесс обретает наиболее поразительные формы, когда текст признается авторитетным. Предположим, некий текст утверждает, что народ X возник в определенном месте, сбежал от несправедливых налогов конкретного короля равнинного государства, следовал в своих перемещениях некоторым маршрутом, поклонялся особым духам-покровителям и свойственным лишь себе образом хоронил мертвых. Появление подобных текстов влекло за собой серьезные последствия, поскольку упрощало институционализацию некой общепринятой нормативной версии событий. Таковую, собственно, и можно было из них узнать, и этот факт объясняет привилегированное положение грамотных писцов, которые умели читать. Любые последующие трактовки, в зависимости от степени соответствия первоначальному нормативному тексту, порождали различные вариации инакомыслия. В то же время споры в рамках устной культуры о том, какая именно из проговариваемых версий событий заслуживает доверия, нельзя разрешить, апеллируя к авторитету некоего письменного текста.

Письменные тексты, как и все документы, возникают в определенном историческом контексте и его, собственно, и отражают — в этом смысле они всегда «заинтересованные» и исторически детерминированные. В момент создания они вполне могут служить целям презентации истории группы в выгодном для нее свете. Но что, если ситуация принципиальным образом меняется и представленный в тексте образ группы становится ей

неудобен? Что, если вчерашние враги сегодня стали союзниками, и наоборот? Если текст достаточно многозначен, то может иначе интерпретироваться, чтобы соответствовать новым реалиям. Если он не полисемичен, то его можно сжечь или выкинуть; в случае монументов с помощью долота приходилось уничтожать выбитые имена и события[612]. Легко заметить, что по прошествии времени зафиксированные версии событий могут с тем же успехом стать ловушкой и препятствием, с каким ранее были инструментом успешной дипломатии[613].

Для горных народов и безгосударственных сообществ в целом мир письменной культуры и текстов неразрывно связан с государством. Равнинные рисовые государства становились центрами письменности не только как культовый оплот мировых религий, но и потому что письмо — ключевая технология административного и государственного управления. Сложно представить себе рисовое государство без кадастровых карт налогооблагаемых земель, реестров обработки барщины, расписок, статистического учета, королевских указов, сводов законов, специальных соглашений, договоров и списков, списков, списков — короче говоря, без системы письменности[614]. Элементарная форма государственного управления — перепись населения и домохозяйств — основа системы налогообложения и воинского призыва. Из всех письменных текстов, сохранившихся от древнего города-государства Урука в Месопотамии, 85 % составляют записи экономического характера[615]. Как отметил Клод Леви-Отросс, «письменность, видимо, необходима централизованному стратифицированному государству, чтобы воспроизводить себя. Письменность — странная вещь... Один феномен, который неизменно ее сопровождает, — формирование городов и империй: интеграция политической системы, то есть включение значительного числа индивидов в иерархию каст и рабов... Такое впечатление, что письменность способствует скорее эксплуатации, чем просвещению человечества»[616].

В общеизвестной истории акха о странствиях («дорогах») этот народ описывается как когда-то прежде выращивавший рис на равнинах и жестоко угнетавшийся правителями и-лоло. Ключевой фигурой прошлого в этом нарративе выступает король Жабьоланг, величайшее преступление которого состояло, по мнению акха, в том, что он ввел ежегодные переписи[617]. Сама идея переписи (jajitjieu) символизирует аппарат государственной власти. Начало колониальной эпохи изобилует восстаниями коренных народов против первых переписей: крестьяне, как и племена, прекрасно понимали, что сбор данных — всегда лишь прелюдия к налогам и барщинным отработкам.

Схожее восприятие систем письменности и учета пронизывает историю колониальных крестьянских восстаний против государства. Основным объектом крестьянского гнева нередко были не столько колониальные чиновники, сколько документы, фиксирующие права собственности на землю, налогооблагаемые объекты и численность населения, посредством которых, по мнению крестьян, чиновники осуществляли управление. Мятежникам казалось, что само по себе сожжение здания с архивной документацией гарантирует им некое освобождение. Но связывание письменности с государственным угнетением не было особенностью колониального мира. Радикальные силы Гражданской войны в Англии (диггеры и левеллеры) считали, что латынь, на которой писались законы и говорило духовенство, призвана дурачить народ, чтобы власти могли его обирать. Сам факт знания человеком букв мгновенно порождает у них подозрения[618].

По большей части первые шаги любого государственного строительства были связаны с названием тех объектов, которые прежде многократно меняли свои названия или были безымянны, — деревень, округов, родов, племен, вождей, семей и полей. Процесс придумывания названий, будучи встроены в систему административного управления, породил прежде не существовавших социальных субъектов. Для ханьских чиновников одной из отличительных черт «варваров» было отсутствие отчеств. Существование подобных стабильных имен у самих ханьцев объяснялось их прежними попытками создания государственности. В этом смысле любые элементы идентичности и пространственного размещения, позже обретающие собственную генеалогию и историю, в своем официальном, стабильном формате — эффект государства, неразрывно связанный со становлением письменности.

Для многих безгосударственных до- и постписьменных народов мир грамотности и письменной культуры — не просто напоминание об отсутствии у них власти и знаний и обусловленной этим фактом стигматизации, но одновременно прямая и явная угроза. Письменность, напрямую связанная с государственной властью, легко могла стать инструментом и лишения, и обретения многих прав и возможностей. Отказ обучаться или сохранить систему письменности — одна из множества стратегий, чтобы остаться недоступными для государства, хотя, возможно, более разумно было бы полагаться на «знания, которые позволили бы сопротивляться бюрократической кодификации»[619].

Безгосударственным народам, выбравшим жизнь между мощными равнинными государствами, а потому развившим такие важные навыки выживания, как адаптивность, мимикрия, переформатирование повседневных практик и особые способы обустройства пространства, устная традиция давала существенные преимущества. В устной культуре невозможна одна-единственная авторитетная модель генеалогии или истории, которая бы служила золотым стандартом общепринятой нормы. В случае наличия двух и более толкований выбор наиболее достоверной версии событий в значительной степени обусловлен репутацией «сказителя» и тем, насколько рассказанная им легенда соответствует интересам и вкусам аудитории.

Во многих отношениях устная традиция намного более демократична, чем письменная, по крайней мере по двум причинам. Во-первых, умение читать и писать обычно не так широко распространено, как способность рассказывать истории[620]. Во-вторых, редко обнаруживается простой способ «вынести решение» о том, как правильно рассказать о том или ином событии, потому что не существует зафиксированного письменного текста, с которым можно сравнивать устные пересказы и оценивать степень их достоверности. Устная коммуникация, даже если речь идет об «официальных» сказителях, по определению ограничена размерами той аудитории, которая собралась услышать историю непосредственно от рассказчика.

Произнесенное слово, как и в целом язык, есть коллективное действие: «Связанные с ним конвенции должны разделяться целыми группами общества, различающимися по своим размерам, прежде чем его „смысл“ станет доступен отдельным членам общества» в момент передачи[621]. О того момента как произнесенный текст (конкретная речевая конструкция) записан и сохраняется как высказывание, он утрачивает большую часть особенностей

своего происхождения — интонацию, музыкальное и танцевальное сопровождение, реакции аудитории, телесную экспрессию и мимику, — каждая из которых могла быть принципиально важна для передачи его изначального смысла[622].

На самом деле, если речь идет об устных историях и нарративах, понятие «подлинности» просто теряет смысл[623]. Устная культура существует и поддерживается благодаря единичным уникальным высказываниям — в конкретном месте, в конкретное время, перед заинтересованной аудиторией. Конечно, подобные речевые высказывания не сводятся лишь к проговариванию некоторого набора слов: каждое из них учитывает окружающую обстановку, жесты и выражение лица говорящего (говорящих), реакции аудитории и собственно повод для «выступления». Таким образом, устную культуру отличает непреходящая настоящесть — если бы в ней не было сиюминутной заинтересованности и она не имела бы смысла для данной конкретной аудитории, она просто бы прекратила свое существование. И напротив, письменный источник может более или менее незримо сохраняться в течение тысячелетий, чтобы внезапно быть извлеченным на свет и стать авторитетным документом, на который можно ссылаться.

Устные традиции соотносятся с письменными примерно так же, как подсечно-огневое земледелие — с поливным рисоводством и небольшие, рассеянные родовые объединения — с оседлыми сообществами с высокой концентрацией населения. Устные традиции создают «медузообразные», изменчивые, гибкие формы обычаев, истории и права. Они допускают определенный «дрейф» в содержании и акцентах с течением времени — стратегически продуманное и целенаправленное переформатирование, скажем, истории группы: одни события в ней забываются, другие подчеркиваются, третьи «вспоминаются». Если группа, все члены которой имеют общее происхождение, распадается на две или более подгрупп и каждая из них начинает самостоятельную жизнь в совершенно новых условиях, можно представить, насколько их устные истории в итоге окажутся различными. Поскольку устные традиции меняются незаметно и независимо друг от друга, невозможно обнаружить общую для них точку отсчета, которую представляет собой общий письменный текст и по которой можно было бы оценить, как далеко и по какой именно траектории каждая традиция отошла от некогда единого жизнеописания. Устные традиции сохраняются только благодаря пересказам, а потому накапливают различные интерпретации по мере своей передачи. Каждое новое воспроизведение неизбежно отражает текущую ситуацию, интересы, политические отношения, восприятие соседних сообществ и родовых объединений. Барбара Андайя, описывая устные традиции Суматры (Джамби и Палембанга), характеризует данный процесс приспособления и трансформаций следующим образом: «О молчаливого согласия всех членов сообщества детали, чуждые его нынешнему состоянию, изымались из легенд, чтобы быть заменены новыми, релевантными, которые позиционировались бы как наследие предков, тем самым не позволяя настоящему утратить преемственность с прошлым, а прошлому — осмысленность»[624].

Устные традиции способны на удивительные подвиги самоотверженного самосохранения и межпоколенческой передачи, если их носители (группы) в этом заинтересованы. Нам многое известно о традициях сказительства благодаря новаторским исследованиям сербского устного народного эпоса и, как следствие, гомеровского эпоса, а потому мы понимаем, что рифма, размер и длительное обучение могут обеспечить высокую точность изустной

передачи даже очень длинных фрагментов текста[625]. У акха особая каста пхима (phima) — учителей и чтецов — посредством устной передачи сохраняла довольно сложные и длинные генеалогии, описания основных событий в истории народа и нормы обычного права: они пропевались в торжественных случаях. Тот факт, что широко рассеянные группы акха, говорящие на весьма различающихся диалектах, сумели сохранить почти идентичные устные тексты, свидетельствует об эффективности применяемых для этого методов. Еще более впечатляет то обстоятельство, что акха и хани, разделившиеся более восьмисот лет назад, воспроизводят устные тексты, почти полностью понятные и тем и другим[626].

Я натолкнулся на удивительный современный пример сохранения детальной устной истории в бирманских шанских штатах — в деревне народа пао в двух днях пути на восток от Кало. В конце ужина несколько жителей деревни попросили пожилого мужчину спеть историю У Онг Та, одного из самых известных политиков пао после Второй мировой войны. У Онг Та был убит неизвестными недалеко от Таунджи в 1948 году. Декламация, которую я записал на магнитофон, длилась более двух часов. Как показал перевод, это оказался совсем не героический эпос о бесстрашных подвигах, которого я ожидал, а исключительно приземленный и подробный рассказ о последних днях жизни У Онг Та. Больше всего он напоминал скрупулезный полицейский отчет, детально описывающий, когда Онг Та приехал в деревню и с кем, что было надето на всех прибывших, каков был цвет его джипа; с кем он разговаривал, когда пошел купаться; когда прибыло несколько человек, расспрашивавших о его местонахождении, как они были одеты, на каком джипе приехали и что сказали жене Онг Та; когда было найдено его тело, что на нем было надето, как его опознали по кольну на пальце, каковы были результаты вскрытия и т. д. В конце декламации певец наставлял слушателей «брать пример с этой правдивой истории, чтобы избежать утрат и искажений в истории о чем бы то ни было». Можно было подумать, что всевозможные усилия, прикладываемые вот уже половину столетия для тщательной устной передачи данной информации, осуществлялись для того, чтобы сохранить в первозданном виде все устные свидетельства и значимые факты на случай серьезного полицейского расследования! Я был удивлен, когда узнал, что этому и другим певцам на землях пао платили за декламации истории убийства У Онг Та на свадьбах и праздниках. Несмотря на недостаток театральности и изобилие фактических деталей, это была популярная и почитаемая история[627].

Таким образом, устные традиции способны в определенных ситуациях обеспечивать схожую с зафиксированным письменным текстом дословную неизменность содержания рассказа, гарантируя ему в то же время достаточный для стратегического приспособления и трансформаций потенциал гибкости. Они фактически, и так было всегда, претендуют как на статус изначальных ур-текстов, так и на статус совершенно новых нарративов, причем не существует простых способов оценки справедливости подобных претензий.

Причины стратегических и незапланированных обновлений устных традиций многообразны. Как только наступает окончательное понимание, что любые описания обычаев, генеалогий и историй ситуационно обусловлены и необъективны, их новые версии с течением времени становятся общепризнанной нормой. У качинов рассказывание историй — прерогатива профессиональных групп жрецов и сказителей, и «все истории имеют несколько версий, каждая из которых призвана подкреплять претензии конкретных заинтересованных лиц». В

противоборстве качинских родов за относительно высокие статусные позиции и удовлетворение своих аристократических амбиций каждая версия происхождения народа, его истории и пантеона духов, которым качины поклонялись, изображалась таким образом, чтобы соответствовать интересам конкретного рода. Как предупреждает Эдмунд Лич, «не существует „подлинной версии“ традиции народа качин — лишь некий набор историй, в которых представлен более или менее одинаковый перечень мифологических персонажей и используются схожие типы структурного символизма... но которые при этом отличаются друг от друга в ключевых деталях, в зависимости от того, кто именно рассказывает историю»[628]. Подобная ситуация характерна не только для родовых объединений и кланов, но и для более крупных социальных единиц, например этнических групп. Со временем меняются окружающие обстоятельства, а следовательно, интересы групп, их описание собственной истории, обычаев и даже божеств. Можно предположить, что группы каренов, проживавшие в разных условиях — по соседству с монами, тайцами, бирманцами и шанами, — создали несхожие устные традиции, соответствующие каждой конкретной ситуации. Поскольку их неустойчивое политическое положение было подвержено резким и радикальным изменениям, пластичная устная традиция была преимуществом. Если, как утверждает Рональд Ренард, культура каренов может «полностью развернуться на месте» и превосходно адаптирована к перемещениям и изменениям, то их устная традиция способствовала тому в не меньшей степени, чем кочевое земледелие и пространственная мобильность[629].

Речь отнюдь не идет о циничной манипуляции, не говоря уже о сознательном конструировании абсолютно ложной версии событий, — устные традиции изменяются практически незаметно сказителями, которые не считают себя мастерами провозглашать истину. Модификации в основном сводятся к избирательным акцентам и умолчаниям, потому что определенные версии кажутся более важными или соответствующими текущей ситуации. Здесь применимо понятие «бриколаж», поскольку вариативные устные традиции часто состоят из одних и тех же базовых элементов, однако их организация, расстановка акцентов и морально-этическая нагрузка различны[630]. Яркий пример тому — декламации генеалогических историй, посредством которых многие горные народы устанавливали отношения союзничества или вражды. Любую генеалогическую цепочку можно было удлинять бесконечно, потому и не было числа предкам народа. Отсчитав лишь восемь поколений по мужской линии, можно было обнаружить 255 прямых предков, а по линии обоих родителей это число увеличивалось вдвое — до 510. Решение о том, какую именно из множества генеалогических ветвей исключить, отслеживать или акцентировать, в некотором смысле носило произвольный характер. По той или иной генеалогической линии Авраам Линкольн окажется предком большинства американцев. О той же вероятности они могут обнаружить в своей родословной его убийцу Джона Уилкса Бута, однако не склонны выяснять этот факт и тем более подчеркивать свое родство! Стратегически отбирая и акцентируя внимание на конкретных предках, можно установить такие фактические генеалогические взаимосвязи, которые могут легитимировать нынешние союзы. В этом смысле сложные родословные предлагают огромный выбор возможных взаимосвязей, большинство из которых остаются в тени, хотя в случае необходимости могут быть извлечены на свет. Чем более неустойчива социальная среда, чем чаще группы делятся и воссоединяются, тем выше вероятность того, что множество забытых предков вновь вступит в игру. Считается, что берберы могут раздобыть генеалогическое обоснование практически

любого выгодного им политического союза, или получения прав на выпас скота, или на случай войны[631].

Документально зафиксированная генеалогия, наоборот, устанавливает один-единственный вариант рассказывания общепризнанной версии событий, фактически лишая его временного измерения и представляя как раз и навсегда данную и неизменную форму будущим поколениям. Первый письменный политический документ Японии (712 год) представляет собой генеалогическую историю великих родов, которая была очищена от «неправды», запомнена, а затем записана и сохранена как основополагающий текст официальной традиции. Его задачей была кодификация избирательного и политически выгодного сочетания множества нарративов и официальное объявление его единственно верной и неизменной священной историей[632]. Отныне все прочие версии считались инакомыслием. Официальная династическая генеалогия повсеместно возникала непосредственно в момент осуществления политической централизации. Приход к власти Макассара, одного из множества мелких королевств, был, по сути, гарантирован созданием письменной генеалогии, «документально подтвердившей» квазибожественность победившей правящей семьи[633]. Практически всегда письменные генеалогии были призваны обосновать и подкрепить властные притязания, что было невозможно сделать, если они заявлялись только в устной форме. Исследуя первые генеалогии в ранней истории Шотландии, Маргарет Ниек подчеркивает различие устной и письменной форм их фиксации:

“ В русле традиций устной культуры... подходящие генеалогии создавались относительно легко за счет целенаправленной манипуляции доказательствами, поскольку было крайне мало возможностей внешнего подтверждения каких бы то ни было заявлений... Как только генеалогия получала документальное оформление, она прочно, как никогда прежде и помыслить было нельзя, закрепляла за определенными индивидами и семьями статус должностных лиц. Фабрикация претензий, чтобы оспорить власть и положение подобных индивидов, потребовала, бы получения доступа, к соответствующим документам, которые действительно существовали, а также к технологиям, необходимым, для, производства, альтернативных версий генеалогий[634].

То же самое можно сказать о наборе историй, который имеется в распоряжении группы и из которого она может выбрать подходящий для составления своей родословной сценарий. Возможности отбора, акцентирований и умолчаний здесь также бесчисленны. Возьмем в качестве достаточно банального примера взаимоотношения Соединенных Штатов с Великобританией. Тот факт, что американцы вели две войны против Великобритании (Война за независимость и Англо-американская война 1812 года), обычно замалчивается в свете союзничества двух стран в XX веке в ходе мировых войн и холодной войны. Если бы Соединенные Штаты и сегодня были противником Великобритании, скорее всего, доминировала бы иная, чем сегодня, версия прошлого.

Возможности модификаций, безусловно, столь же богаты в случае письменных историй и генеалогий, как и в случае их устных аналогов. Различие состоит в том, что избирательное забывание и запоминание в рамках устной традиции происходит более незаметно и гладко, поскольку здесь изменения наталкиваются на меньшее количество препятствий и то, что на самом деле является абсолютным новшеством, легко может быть без особых возражений представлено как голос прошлого.

Преимущества жизни без истории

Если устная история и генеалогия предоставляют больше возможностей для маневра, чем их письменные аналоги, то, видимо, самое радикальное из всех возможных решений — утверждать полное отсутствие какой бы то ни было истории и генеалогии. Так, Хьёрлифур Йонссон противопоставляет лису народам луа и мьен. Лису, если не считать постоянные упоминания того, как они убивают слишком напористых вождей, имеют предельно сокращенную версию устной истории. Йонссон утверждает, что «лису забывают столь же упорно, как луа и мьен запоминают». Он полагает, что лису почти полностью отказались от истории, чтобы целенаправленно «лишить социальные структуры выше уровня домохозяйств, такие как деревни или объединения деревень, их активной роли в ритуальной жизни, в социальной организации, в мобилизации общественного внимания, труда и ресурсов»[635].

Стратегия лису принципиальным образом расширяет пространство для маневра в двух отношениях. Во-первых, любая история, любая генеалогия, пусть даже в устной форме, представляет собой некое позиционирование себя относительно других групп, причем это лишь один из множества возможных вариантов. Сделанный выбор может оказаться неудачным; изменить его мгновенно, даже в рамках устной традиции, невозможно. Лису, в результате отказа демонстрировать свою приверженность какой бы то ни было трактовке прошлого, для сохранения своей традиционной автономности ничего не приходится менять — пространство для маневра становится почти безграничным. Но безысторичность лису глубоко радикальна и по другой причине. Абсолютно все они отрицают категорию «лису» как собственную идентичность, за исключением, видимо, тех случаев, когда сталкиваются с чужаками. Отказываясь от истории — не располагая общей трактовкой прошлого и общепризнанной генеалогией, которые определяли бы групповую идентичность народа, — лису фактически устраняют все элементы культурной идентификации, выходящие за пределы индивидуального домохозяйства. Можно сказать, что лису сконструировали абсолютно «медузообразную» культуру и идентичность, отказавшись как бы то ни было себя позиционировать! Подобная стратегия сокращает возможности коллективного сопротивления, но в то же время максимизирует способности адаптации к неустойчивой внешней среде.

Как уже говорилось выше, относительно слабые горные народы могли или счесть выгодным избегание письменной традиции и фиксированных текстов, или же полностью от них отказаться, чтобы расширить себе пространство для культурного маневра. Чем короче генеалогии и история народа, тем меньше ему нужно объяснять и тем больше придумывать не сходя с места. В Европе показателен в этом отношении пример цыган. Будучи

повсеместно преследуемым народом, они не создали единой письменности, заменив ее богатой устной традицией, в которой высоко почитаются сказители. У цыган нет общей версии исторического прошлого. Они не рассказывают о своем происхождении или обещанной им земле, куда все они стремятся. У них нет ни святынь, ни гимнов, ни руин, ни памятников. Если когда-либо и существовал народ, которому пришлось скрывать, кто он и откуда пришел, то это были цыгане. Скитаясь из страны в страну и в большинстве из них подвергаясь гонениям, цыгане постоянно вынуждены были модифицировать свои истории и идентичности, чтобы выжить. Цыгане — кочевой скитающийся народ.

Но сколько «историй» нужно или хочется иметь народу? Краткий анализ устной и письменной традиций поднимает более широкий вопрос: какова в конечном итоге та социальная единица, что является носителем исторического сознания, независимо от того, передается оно из поколения в поколение в устной или письменной форме?

В случае формирования централизованного правительства и правящей династии очевидно, что они стремились закрепить свои притязания (даже если таковые и были полностью сфабрикованы) на легитимность и древнее происхождение посредством создания соответствующих родословных, придворных преданий, эпоса и хвалебных гимнов. Сложно представить институциональные претензии на естественность и неизбежность власти, которые бы существенным образом не опирались на историю — устную или письменную. То же самое касается практически любых социальных иерархий. Утверждение, что какой-то конкретный род выше другого или что определенный город обладает привилегированным положением по сравнению с другим, должно было подкрепляться ссылками на историческое прошлое и легенды, чтобы не выглядеть голословным или основанным на грубой силе. Можно даже сказать, что любые заявления о более высоком положении или социальном неравенстве, выходящие за пределы одного поколения, обязательно нуждаются в историческом обосновании. Подобные претензии не требуют устного или письменного закрепления — как это часто случается в горах, они могут базироваться на владении ценными регалиями, гонгами, барабанами, печатями, реликвиями, даже головами, выставление которых на всеобщее обозрение на торжественных церемониях свидетельствует о властных притязаниях их владельцев. Оседлые сообщества, даже если они не жестко социально дифференцированы, склонны не только создавать устойчивые версии своего происхождения и жизненного пути, но и до такой степени историзировать свое право владения полями и жилыми постройками, что те превращаются в ценное имущество.

Но что же тогда нужно тем людям, что живут на окраинах государства, в социально не иерархизированных системах родства и часто меняют местоположение своих сельскохозяйственных занятий, как, например, подсечно-огневые земледельцы? Не следует ли из всего сказанного выше, что подобные группы не только предпочитают устную традицию по причине ее пластичности, но и вообще не особенно нуждаются в какой-либо версии собственной истории? Во-первых, «единица, хранящая историю» и составляющие ее родословные, может быть весьма изменчива и неустойчива. Во-вторых, какой бы ни была подобная единица, если речь идет о подсечно-огневых земледельцах, то она им мало интересна с точки зрения защиты исторически сложившихся привилегий, поскольку у них есть масса стратегически важных причин оставлять свое прошлое открытым для

импровизаций.

В своей классической работе по устной истории Ян Вансина, противопоставляя устные традиции соседних Бурунди и Руанды, приводит убедительные примеры, подтверждающие мою аргументацию. У этих двух стран много общего, но Бурунди — менее иерархизированное и централизованное государство, в результате чего, как утверждает Вансина, здесь гораздо меньше устной истории, чем в централизованной Руанде. В Бурунди, в отличие от Руанды, не существует королевской генеалогии, придворных песен и династической поэзии.

“ Подвижность всей политической системы просто поражает. Здесь нет ничего, что могло бы способствовать формированию детальной устной традиции: ни историй провинций, потому что таковые были нестабильны, ни историй известных семей, потому что помимо королевской семьи [узурпатора с незначительными властными полномочиями] никаких других просто не существовало, ни централизованного правительства, а соответственно, и официальных историков... В общих интересах было забыть прошлое. Прежний старший регент страны рассказал мне, что история не представляла никакого интереса для двора, поэтому у них практически отсутствуют исторические хроники. Политическая система объясняет почему[636].

Письменная и устная культуры не исключают друг друга: невозможна устная традиция, в которой не сложились тексты, как и не существует основанного на текстах общества, в котором отсутствует параллельная письменной и иногда противостоящая ей устная традиция. Как и в случае с поливным рисоводством и подсечно-огневым земледелием или иерархической и эгалитарной социальными формами, видимо, правильнее говорить о колебаниях и переходах от одной традиции к другой. Если преимущества жизни в основанном на текстах государстве множились, то безгосударственные сообщества могли постепенно усваивать письменность и грамотность; как только эти преимущества сходили на нет, безгосударственные народы стремились вернуться или остаться преимущественно в рамках устной традиции.

Отношение народа, родового объединения или сообщества к своей истории позволяет понять его восприятие государственности. Все социальные группы обладают некоей формой истории, рассказа о себе — кто они и как оказались там, где сегодня живут. Но на этом сходства подобных историй заканчиваются. Периферийные группы без руководящей верхушки склонны акцентировать в своих версиях прошлого маршруты передвижений, поражения, миграции и особенности ландшафта. Статусные различия, героическое происхождение и территориальные претензии, наоборот, составляют суть процессов централизации и (потенциального) становления государственности. Различается не только содержание, но и форма осмысления прошлого. Письменная традиция обладает огромной инструментальной ценностью для процессов политической централизации и

администрирования. Но при этом устная традиция предоставляет существенные преимущества тем народам, чье благополучие и выживание зависят от скорости адаптации к капризному и опасному политическому окружению. И наконец, прослеживаются различия в том, сколько именно истории предпочитают иметь разные народы. Например, лису и карены, видимо, любят путешествовать налегке и, насколько это возможно, снижают «вес» своего исторического багажа. Как шкиперы трамповых судов, они по своему опыту знают, что нельзя уверенно предсказать, в какой именно порт им придется зайти в следующий раз. Безгосударственные народы обычно стигматизируются окружающими их культурами как «народы без истории», то есть как не обладающие фундаментальной характеристикой цивилизации — историчностью[637]. Во-первых, стигматизация предполагает, что только письменная традиция способна нарративно конструировать идентичность и общее прошлое. Во-вторых, что более важно, незначительный объем истории у народа отнюдь не является индикатором низкой степени эволюции — это всегда сознательный выбор, отражающий попытку определенным образом самопозиционироваться по отношению к мощным, основанным на письменных текстах соседним культурам.

Версия #2

Зверобой создал 17 апреля 2025 23:33:10

Зверобой обновил 17 апреля 2025 23:37:40